

# ФИЛОЛОГИЯ

**Е. К. Созина**

## **АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОГО РЕАЛИЗМА 1840—1850-х гг.**

Несмотря на очевидную сегодня проблематичность понятия “реализм” в применении к русской классике XIX в., есть смысл сохранить этот термин, когда речь идет о становлении новых творческих писателей круга В. Г. Белинского, которых мы привычно определяем как писателей натуральной школы и которые затем, по смерти идеолога и вождя направления (1848), пошли в литературе каждый своим путем. Индивидуальность художественных дарований и судеб Герцена, Гончарова, Тургенева, Достоевского, Некрасова не исключает некоей общей системы координат, в которой в их творчестве рассматривались конкретная человеческая жизнь и социально-психологические процессы в стране. Опорными точками этой системы можно считать понятия: натура и природа человека (второе более объемно и многозначно, нежели первое, хотя в реальной практике они зачастую выступали синонимами), среда и обстоятельства, воспитание, характер; наконец, и в массовом порядке уже в 60-е гг., — личность. Как известно, основной проблемой литературы 40—50-х гг., с чем, собственно, и связывается в нашем сознании натуральная школа, явилась проблема взаимодействия человеческой натуры со средой; в понятие среды неизбежно включались воспитание, образ жизни людей, господствующие в социуме обычаи и нормы поведения, социальные и материальные условия жизни, понимаемые подчас достаточно широко (не случайно Ю. В. Манн говорит о влиянии “века” на личность в романах Герцена и Гончарова<sup>1</sup>). Своеобразной точкой отсчета выступала натура, природная сущность человека; сам же человек рассматривался как многоуровневое, но, главным образом, органическое образование, целостное, несмотря на всю свою “многоэтаж-

---

<sup>1</sup> См.: Манн Ю. В. *Философия и поэтика “натуральной школы”*// Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 254—256.

ность". Означенную особенность русской литературы середины XIX в. во взглядах на человека и окружающий его мир традиционно принято называть антропологизмом. Задача этой статьи — проследить движение антропологического принципа в творчестве некоторых русских классиков XIX столетия, а именно тех из них, которые группируются вокруг сугубо "природного" понимания природы и личности человека. Сам подход или критерий группировки выяснятся в ходе дальнейшего изложения.

Известно, что к 1860 г. относится знаменитая статья Н. Г. Чернышевского "Антропологический принцип в философии", где слово было, так сказать, найдено и произнесено. Чернышевский писал: "...принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом"<sup>2</sup>; "...законы, по которым возникают (психические. — Е. С.) феномены, есть только особенные частные случаи действия законов природы"<sup>3</sup>. Отсюда "идея о единстве человеческого организма" определяет, по Чернышевскому, понятия "нынешней науки о человеке как отдельной личности"<sup>4</sup>. Характерно, что почти "по Чернышевскому" антропологизм определяется в современном философском словаре как "...взгляд на человека как на высшее и совершеннейшее произведение природы, познание которого дает ключ к ее тайнам, т. к. в органическом единстве телесных отправлениях человека участвуют все ее продуктивные силы"<sup>5</sup>.

В советском литературоведении понятие "антропологизм" при характеристике развития литературы натуральной школы было развернуто Ю. В. Манном в статье 1969 г. Под антропологизмом здесь имелась в виду ориентация писателей на некий родовой принцип человеческой сущности, сформировавшейся "где-то до исторической черты"<sup>6</sup>. Разумеется, в таком понимании он оказывается преемственно связан с французским просветительством и прежде всего — с наиболее популярными в России теорией "естественных страстей" Фурье и концепцией "естественного человека" Руссо, а затем, к концу века, видится плавно перетекающим в "толстовство". Ю. М. Лотман в статье "Истоки толстовского направления в русской литературе 1830-х годов" (1962) отделил тем не менее тенденцию натуральной школы от той, что присутствовала уже в 1830-е гг. (в частности, у Лермонтова) и непосредственно вела к толстовскому направлению, По мнению Ю. М. Лотмана, в русской литературе 1830-х гг. складывались две тенденции антропологизма: "одна исходила из представления об исконно нейтральной — не до-

<sup>2</sup> Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения: В 3 т. Т. 3. М., 1951. С. 251—252.

<sup>3</sup> Там же. С. 253.

<sup>4</sup> Там же. С. 203.

<sup>5</sup> Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. М., 1987. С. 25

<sup>6</sup> Манн Ю. В. Философия и поэтика "натуральной школы". С. 270.

<sup>7</sup> Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 68.

брой и не злой — природе человека, вторая склонялась к идее врожденной его доброты”<sup>7</sup>. Кроме того, с началом XIX столетия связано рождение еще одного, противоположного взгляда на природу человека: понимание ее как изначально злой, которую, следовательно, не могут изменить к лучшему ни преобразования социальной жизни, общественного строя, ни благие устремления самой личности. Так, просветительно-толстовскую ситуацию, реализующую представление о природной жизни как идеале, исследователь увидел в поэме Лермонтова “Мцыри”, в то время как герой другой романтической поэмы Лермонтова — Демон — “зол по природе — приобщение к добру для него возможно лишь путем внутреннего перерождения, изменения своей сущности”<sup>8</sup>, что, в рамках земной экзистенции этого неземного существа, в принципе невозможно.

Указанное различие первых двух тенденций диктовало разные социальные программы русских писателей и общественных деятелей: сторонники естественно-патриархального идеала (представления о врожденной доброте природы) считали, “что путь к социальной гармонии пролегает через возврат к “естественному” человеческому обществу”. Идеологи другого направления полагали, что социальная гармония наступит как естественное завершение всего хода истории”<sup>9</sup>. В прошлом или в будущем помещается “золотой век” человечества; принимать или нет идею исторического прогресса, а значит, и буржуазную цивилизацию, и все ее материальные и культурные “блага”; идти к “слиянию” с народом или пропагандировать развитие и “дотягивание” народа до некоего культурно-исторического эталона — весь комплекс социальных, историософских, даже экономических проблем русской мысли XIX в. может быть выведен из намеченных Ю. М. Лотманом двух тенденций рассмотрения антропологического принципа. Интересно, что понимание человеческой природы как исконно злой или, по крайней мере, двойственной в концепции исследователя лишено исторического первоисточника. Если первая антропологическая тенденция (врожденной доброты природы) генетически связана с руссоизмом, а вторая (нейтральности природной сути) может быть “привязана” к концепции “страстей” Фурье, т. е. обе они проистекали из французского просветительства, то вопрос о происхождении романтического взгляда на человеческую природу остается открытым. Наш дальнейший анализ, надеемся, позволит сделать некоторые замечания относительно генезиса этого взгляда, имевшего для русской литературы не меньшее значение, чем первые две тенденции, указанные и Ю. М. Лотманом, и Ю. В. Манном.

Характерно также, что для русской мысли середины XIX в. лотмановское противопоставление двух антропологических тенденций становится уже несущественным. Так, снятие оппозиции происходит в статье Чернышевского, один из тезисов которой гласит: люди “называют добрым то, что полезно для человека вообще”. “Добро — это как будто превосходная степень пользы, это как будто очень полезная польза”<sup>10</sup>. А следовательно, по логике Чернышевского, сама природа, естественные потребности организма, будучи полезны, являются одновременно и “добрыми”, благими.

<sup>8</sup> Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 3. С. 61.

<sup>9</sup> Там же. С. 89.

<sup>10</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч. С. 248.

К положениям Чернышевского мы еще вернемся, а пока обратимся к Герцену. Антропологический характер всей философской эволюции А. И. Герцена прекрасно показал в своей “Истории русской философии” В. В. Зеньковский. Он выявил и трагизм герценовской “возвышенной антропологии”: «Персонализм, утверждение “нравственной самобытности” и свободы в личности, утверждение *независимости* здесь и далее личности остается все же у Герцена лишь программой, для этого утверждения нет у Герцена никакой *объективной* основы. В потоке природного бытия личности не на чем утверждаться; как бы ни было значительно и глубоко ее внутреннее богатство, но она будет унесена и снесена слепым потоком»<sup>11</sup>. Отсюда следует традиционно признаваемый разными исследователями пессимизм философии Герцена, все более усиливающийся у него с годами.

Зеньковский приводит высказывание Герцена из письма Н. А. Захарьиной в 1837 г.: “Ты права — *тело мешает*. Простор, простор, и я наполню все беспредельное пространство одной любовью. Прочь тело!”<sup>12</sup>, характеризует его как “двусмысленные тона оккультизма”, врезавшиеся “в чистую мелодию христианства”<sup>13</sup>. На наш взгляд, этот, вполне естественный для Герцена второй половины 1830-х гг., своего рода мистический романтизм (естественный, ибо, как известно, им отличались многие классики русской поэзии начала века: вспомним хотя бы “спиритуализм” и бестелесность поэзии Жуковского) характерен как переходная ступень эволюции к мыслям о трагической значимости природной, земной закреплённости человеческого существа. В сознании писателя начала 40-х гг., как неоднократно отмечалось в науке<sup>14</sup>, складывается своеобразная философия случайности, пришедшая на смену прежней, почти слепой вере в предопределение, и каталлизатором ее явились драматические обстоятельства личной жизни: “Тупая случайность смутила наше благородно-гармоническое существование. Три гробика; три колыбели заменились вдруг тремя гробиками. Это страшно. Да: нет предопределения — отсутствие разума в управлении индивидуальной жизнью очевидно” (9,630)<sup>15</sup>. Отсюда, как было показано в исследовании С. В. Савинкова<sup>16</sup>, Герцен приходит к убеждению в “онтологической слабости” человеческой природы, обуславливающей трагизм жизненного бытия. “Но что же это за страшное бытие наше — беспрестанно и с физической и с нравственной стороны ждешь ударов, или не ждешь, но поражаешься ими”, — пишет он в дневнике 1844 г. (9,144). Писатель осознает катастрофичность человеческой жизни, сталкиваясь в первую очередь со смертью; в октябре 1842 г. он подробно описывает в дневнике свои наблюдения за кончиной В. Пассека, словно стремясь отрефлексировать чувства, связанные с таинством природы: “...вчера я присутствовал при великой

<sup>11</sup> Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Т. 1. Ч. 1 Л., 1991. С. 95.

<sup>12</sup> Там же. С. 85.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> См., напр.: Смирнова З. В. Социальная философия А. И. Герцена. М., 1973; Савинков С. В. Антропология А. И. Герцена 1830—1840-х годов как жизненная и творческая задача: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Воронеж, 1994.

<sup>15</sup> Произведения, письма и дневники Герцена здесь и далее цитируются нами по: Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. М., 1955—1958. После цитаты в скобках указывается номер тома и страницы.

<sup>16</sup> См.: Савинков С. В. Антропология А. И. Герцена...

тайне смерти, и вся эта δύναμις (сила), вся потенция, энергия, как угодно, — исчезла, уничтожилась, оставя после себя след на веществе уже гниущем и на костях, которые долго не сгниют — но сгниют же.... Тайна, и грозная страшная тайна. А как наглядно видно тут, что Jenseits — мечта, что дух без тела невозможен, что он только в нем и с ним что-нибудь!" (9, 43—44).

Итак, от спиритуалистического отрицания "тела" в конце 30-х гг. мысль Герцена движется к признанию трагической зависимости от "тела" самого человеческого духа. Характерно, что вначале, в период "антинатуралистического" отталкивания от земной, телесной природы Герцен осмыслил ее в категориях христианско-мистического дуализма: "Тело в смысле материальном, эгоизм в смысле духовном — вот орудие, которым действует Люцифер против воплощенного Слова"<sup>17</sup>. Телесная сущность человеческой природы признавалась здесь злом — совсем как в антропологической посылке романтизма, намеченной Ю. М. Лотманом. Как уже было сказано, В. В. Зеньковский связывал этот телесно-духовный дуализм Герцена с его увлечением оккультизмом: "Из Вятки Герцен писал друзьям о присылке ему сочинений Сведенборга, Парацельса, Эккартсгаузена"<sup>18</sup>. Однако не менее важно, что кроме средневековых мистиков, — а их имена и упоминание о знакомстве с алхимией достаточно часты в этот период в дневнике и письмах Герцена, — в его размышлениях о судьбе христианства мы находим обращение к гностическим учениям начала нашей эры. "Явление гностических школ чрезвычайно важно, здесь фазы древнего мирозерцания сделали опыт соединения с философией новой религии", — пишет Герцен в 1844 г. (9, 173). В соответствии с общим характером философского мировоззрения писателя, который Г. Шпетом был определен как постоянное стремление соединить теоретический и практический моменты в природе и истории человека, равно как и в философской сфере<sup>19</sup>, Герцен и здесь анализирует соотношения гностицизма и христианства, а затем — церкви восточной и западной с точки зрения возможности соединения духа теории и практической жизни. Но нельзя не отметить, что именно в гностицизме человеческая плоть, природно-земное начало понимались как начало безусловно злое, мешающее проявлению и воссоединению с божеством небесного по происхождению духа. Отсюда напрашивается гипотетическое (в силу его недостаточной проработанности) утверждение: взгляд романтизма на телесную природу человека как исходно "злую", не находящий точек соприкосновения не только с культурой "разумного" XVII в., но и с любой "официальной" философией Нового времени, имел в качестве своего исторического первоисточника гностические представления о телесности. И для России, и для Европы в целом в начале XIX в. эти представления были в роли маргинальных, хотя следы гностицизма очевидны и в масонстве, и в общеспиритических увлечениях русского общества первых десятилетий XIX в. Именно они, возможно, и обусловили характерный герценовский ду-

<sup>17</sup> Цит. по: Зеньковский В. В. Указ. соч. С. 84—85. По поводу тех же высказываний Герцена З. В. Смирнова пишет: "Новое в герценовской мысли в вятский период в том, что идея борьбы "эгоизма" и "любви" становится у него *ключевой идеей* (курсив автора. — Е. С.) в понимании человека и человечества, а трактовка этой борьбы оказывается проникнутой религиозно-мистическими мотивами" (см.: Смирнова З. В. Указ. соч. С. 23).

<sup>18</sup> Зеньковский В. В. Указ соч. С. 84. См. письма Герцена Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру (9, 265—266).

<sup>19</sup> См.: Шпет Г. Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1921. С. 4.

ализм, к преодолению которого он стремился на протяжении всего первого периода жизни и творчества.

Это преодоление произошло на пути признания философии Случая, иначе говоря, признания реального положения вещей, в том числе и природной закреплённости человека как не зависящей от нас и, более того, прямо необходимой нашему духу исходной ситуации человеческой жизни. Мы бы сказали, что Герцен предваряет позицию нигилистического отрицания потустороннего мира, с которой начинал созидание своей системы философского экзистенциализма уже в новом XX в. Л. И. Шестов. В связи с этим Господином и целью философствования Герцена становится сама жизнь. “Настоящее есть реальная сфера бытия. Каждую минуту, каждое наслаждение должно ловить, душа непрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать все окружающее и разливать в него свое. Цель жизни — жизнь. Жизнь в этой форме, в том развитии, в котором поставлено существо, т. е. цель человека — жизнь человеческая”, — пишет он в дневнике 1842 г. (9,24). Аналогичные утверждения неоднократно встречаются в произведениях писателя и впоследствии.

Зеньковский отрицательно оценивал выход Герцена от Случая — к Жизни: “Гегелианство с его подчинением личности путям Абсолютного Духа *проваливается* (курсив мой. — Е. С.) в ту новую концепцию жизни, которая вырастает у Герцена из философии случайности”<sup>20</sup>. Г. Шпет расставил акценты иначе: “...здесь его (Герцена. — Е. С.) мысль переходит в его жизнь, философия — в биографию. <...> Рационализм Герцена само собою перешел в реализм”<sup>21</sup>. Оценка Шпета кажется нам и более убедительной, и более объективной. Ибо от романтически-гностического отношения к антропологической природе человека, от материально-духовного дуализма (который всегда сопровождает романтизм) Герцен движется к действительно реалистическому взгляду на человека как на уникальное для природы существо, вписанное в совокупность окружающих его факторов — природных, социальных, культурно-исторических. Как писал Шпет, антропологизм «только там ... может претендовать хотя бы на некоторое философское значение, где обращение к “человеку” есть не только сплошное приобретение универсальной разгадки всех философских затруднений, но где в “человеке” усматривается новая философская проблема, через решение которой пробуждается надежда проникнуть в тайну действительности, как практической реализации теоретического разума»<sup>22</sup>. Жизнь, осмысляемая Герценом метафизически (“Цель жизни — жизнь”), вызывает “посюстороннюю” направленность его философии, и в этой системе естественно возникает даже не столько антропоцентристский, сколько, скорее, персоналистский акцент мысли: акцент на персонально-личностном деянии человека, который будет сделан Герценом уже в работах конца 1840-х и 1850-х гг. Еще раз сошлемся на Шпета: “Личность — огненный центр философского, — как и практического, — мировоззрения Герцена”<sup>23</sup>, хотя подчеркнем, что само слово “личность” довольно редко употребляется Герценом, в его значении у него выступает слово “человек”.

<sup>20</sup> Зеньковский В. В. Указ соч. С. 93.

<sup>21</sup> Шпет Г. Указ соч. С. 46,47.

<sup>22</sup> Там же. С. 20.

<sup>23</sup> Там же. С. 24.

Да, конечно, “безосновность” жизни, к которой приходит Герцен, иначе говоря, лишенность ее Божественной воли и метафизического основания, можно охарактеризовать как пресловутый атеизм, разворачивающийся в “душевную драму” мыслителя (статья С. Н. Булгакова 1902г. “Душевная драма Герцена”). Однако нам представляется, что герценовская философия доводит до логического конца ту линию “перешагивания” через гегелевский рационализм и примат идеи, на которой стояли, скажем, любомудры 1820-х гг. или участники кружка Н. В. Станкевича 1830-х. “Нравственная свобода будет общим уделом — все познания человека сольются в одну идею о человеке — все отрасли наук сольются в одну науку самопознания”, — писал в 1826 г. Д. В. Веневитинов<sup>24</sup>. Далеко ли здесь до тезиса о “нравственной самобытности” личности, провозглашенного Герценом спустя 20 с небольшим лет?.. Вопрос о жизни ставили во главу угла своих незавершенных “метафизик” декабрист И. Д. Якушкин, Н. В. Станкевич, живое влияние личности которого на современников велико и неоспоримо (в нем словно въяве воплощен герценовский идеал соединения теоретического и практического, вечно подвижного разума с взволнованной душой и нравственной волей)<sup>25</sup>. Реализм мысли наряду со стремлением не к софистическому, а к сугубо конкретному снятию неразрешимого (в пределах романтического сознания) конфликта идеала и действительности, “мечты и существенности” — эти принципиально русские черты — отчетливо проявили себя в философии Герцена. Ну а то, что практика русского XX века показала тупиковость этого “безосновного” пути, еще не доказательство его абсолютной исчерпанности, ибо и в истории нашей “еще не вечер”...

Целостная и реалистическая концепция человека складывается у Герцена в середине 1840-х гг., и здесь этапным произведением является роман “Кто виноват?”, где логика художественной действительности вынуждает писателя развернуть весь процесс исследования человеческой сути, промежуточные звенья которого подчас опускались им в статьях, дневнике и письмах. Проблема формирующего влияния “среды” — основная для натуральной школы — отступает в романе перед более насущной для герценовского антропологизма и более актуальной в тот период для его биографии проблемой “рокового” воздействия на человека обстоятельств индивидуального, в том числе и главным образом — биологического созревания и роста. Они в первую очередь определяют и задают тот “вихрь случайности”, которым представлялся в 40-е гг. Герцену хаотический поток бытия, лишенный разумного смысла, неуправляемый и непредсказуемый. Ведь, напоминая, сама проблема слабости и шаткости человеческого существования встала перед Герценом в связи с личной бедой — смертью третьего младенца, а она могла быть объяснена именно биологически — “натурными”, так сказать, телесными особенностями организма Натальи Александровны.

Иначе говоря, в романе “Кто виноват?” Герцен осмысляет проблему “тела”, понимаемого как физическая и эмоционально-физиологическая

<sup>24</sup> Веневитинов Д. В. Анаксагор: (Беседа Платона) // Русская философия первой половины XIX века: Хрестоматия / Сост. Б. В. Емельянов. Свердловск, 1987. С. 63.

<sup>25</sup> См.: Якушкин И. Д. Что такое жизнь? // Русская философия первой половины XIX века. С. 105—112; Станкевич Н. В. Моя метафизика // Там же. С. 195—199.

природа человека, с позиций “жизни”: ее настоящей, сиюминутной экзистенции, реализующей тем не менее совокупность причин, заложенных в прошлом. Однако в соответствии с исследовательски-научоведческим пафосом автора, его установкой на выявление генезиса явления, настоящий и непрогнозируемый поток жизни составляет содержание второй части романа; в первой мы имеем “протокольное” изложение причин (своеобразие композиции произведения неоднократно проанализировано в литературоведении). Именно различие природных натур главных героев романа является генетически исходной причиной их несчастий в последующей романной жизни, которую можно рассматривать как реализацию природного предопределения, раскрытого в биографических главах, но реализацию, которая не состоялась бы без совокупности социально-бытовых и социально-психологических, “средовых” факторов.

“Несчастья этого ребенка начались прежде его рождения, — пишет автор о Дмитрие Яковлевиче Круциферском. —...Мальчик, кажется, избежал смерти и болезни своею чрезвычайною слабостью: он родился преждевременно и был не более, как жив; слабый, худой, хилый и нервный, он иногда бывал не болен, но никогда не был здоров” (1,138). Таким образом, природный темперамент героя, его последующую слабую духовную организацию, его романтический фатализм определила ситуация вынашивания плода будущего ребенка матерью: социальное отлилось в биологическое: “В это тревожное (для семьи. — Е. С.) время непрерывных слез родился Митя, единственный наказанный в деле о найденном теле кучера” (1,138). Отделить одно от другого (сугубо социальное от природного) здесь достаточно трудно; поневоле всплывает положение Чернышевского о целостности и взаимообусловленности всех отправлений и факторов живого организма.

Весь ход анализа Герценом судеб героев настраивает нас на восприятие незатейливого вывода: люди не схожи по своей природе и изменить это чрезвычайно трудно, скорее, невозможно. Загадочность женской натуры отличает женщину от мужчины, природно возвышает ее над ним. Рассказывая о “воспитании” Любоньки в доме Негрова, автор констатирует: “Однако ж бесплодность среды, окружавшей молодую девушку, не подавила ее развития, — совсем напротив, пошлые обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствовали усилению мощного роста. Как? — Это тайна женской души” (1,154). Сила природного темперамента Негрова в сочетании с проблемной ситуацией детства складывают характер героини: она именно от природы сильнее Круциферского, хотя сама по себе человеческая природа не является ни доброй, ни злой: ее делают таковой условия жизни и воспитания. По лицу Любоньки “можно было понять, что в Негрове могли быть хорошие возможности, задавленные жизнью и погубленные ею; ее лицо было объяснением лица Алексея Абрамовича: человек, глядя на нее, примирялся с ним” (1,150).

Для понимания характера и личности Бельтова, кроме образа жизни, воспитания и фигуры воспитателя, швейцарца Жозефа, самым важным является наследственный генотип: “крутая” эмоциональность и возбудимость отца, тонкость нервной организации матери. “Есть нежные и тонкие организации, которые именно от нежности не прерываются горем, уступают ему по видимому, но искажаются, не принимают в себя глубоко испытанное и в продолжение всей жизни не могут отделаться от его влияния; выстраданный опыт остается какой-то зловещей материей, живет в крови, в



самой жизни, и то скроется, то вдруг обнаруживается с страшной силой и разлагает *тело*” (здесь и далее курсив мой. — Е. С.; 1,196). Страдание, перенесенное Бельтовой до замужества, перешло в ее плоть и кровь, а затем черным пятном, “злотворной материей” легло в нервную организацию, а значит, и в душу сына. Он словно от рождения обречен быть несчастным, вечно искать и не удовлетворяться достигнутым. И в этом плане чрезвычайно точным является мнение В. М. Марковича о принципиальной неразрешимости диалогического конфликта героев Герцена<sup>26</sup>: каждый из них — доктор Крупов, Круциферский, Бельтов — прав с точки зрения *своей* натуры и своего опыта жизни.

Словно подводя итог антропологическим изысканиям художественной прозы 40-х гг., в главе о шестой части “Былого и дум”, носящей название “Роберт Оуэн”, Герцен пишет: “Каждый человек опирается на страшное генеалогическое дерево, которого корни чуть ли не идут до Адамова рая...” (6,251). Не лишним будет вспомнить, что направленность личности Бельтова к социально-публичной деятельности, нереализованность которой и погубила его жизнь, соответствовала характеру натуры самого Герцена. В этом он неоднократно признавался и себе, и своей будущей жене: “Моя натура по превосходству социальная. Я назначен, собственно, для трибуны, форума, как рыба для воды” (из дневника 1842 г.; 9,20). Обратим внимание на слово “натура”. В более ранних письмах Н. А. Захарьиной Герцен объяснял свою нацеленность на “поэзию славы” и “обширный круг действия” голосом самолюбия, раздающимся из недр его души, т. е. духа (9, 271). Открывая в себе любовь к Бельтову, Круциферская записывает в дневнике: “...его огненная, деятельная натура: беспрестанно занятая, трогает все внутренние струны, касается всех сторон бытия” (1,299). Поистине природная предназначенность, объединившись с “благоприятными” обстоятельствами (мелочность и узость среды, окружавшей Любовь Александровну в супружестве, очевидная слабость мужа, нереализованность ее, опять-таки, природных потенций, — и любовь как последняя возможность “воплотиться” для Бельтова), толкает героев навстречу друг другу.

Не следует думать, что на вопрос “кто виноват?” в печальной судьбе героев роман Герцена отвечает: разница природных оснований натур. Это столь же неверно, как и однозначный ответ: виноваты среда и воспитание, виноват полицейский режим России, не позволивший Бельтову найти себя в общественной деятельности на родине (в конце концов, кто мешал ему определиться на западной публичной арене, — как это чуть позже сделал автор романа?...). В книге “С того берега” (1850) Герцен теоретически осмысливает свои представления о целостности, взаимозависимости и, несмотря на всю детерминацию, непостижимости человеческой сущности. “Зависимость человека от среды, от эпохи не подлежит никакому сомнению. Она тем сильнее, что половина уз укрепляется за спиною сознанию; тут есть связь физиологическая, против которой редко могут бороться воля и ум; тут есть элемент наследственный, который мы привносим с рождением, так, как черты лица, и который составляет круговую поруку последнего поколения с рядом предшествующих; тут есть элемент морально-физи-

<sup>26</sup> См.: Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. Л., 1982. С. 69—77.

ологический — воспитание, прививающее человеку историю и современность; наконец, элемент сознательный. Среда, в которой человек родился, эпоха, в которой он живет, его тянет участвовать в том, что делается вокруг него, продолжать начатое его отцами; ему естественно привязываться к тому, что его окружает, он не может не отражать в себе, собою своего времени, своей среды” (3,349). Божественному духу здесь не находится места. Однако далее эта “бесосновность” человеческого существа — сей целиком антропологический подход — ведет писателя к знаменитому в контексте его философии тезису о нравственной самобытности личности — ее ответе “на влияние среды”, благодаря чему человек может “перемениť узор ковра” истории.

Само представление об историческом процессе как цепи импровизаций, безумной с точки зрения мыслящего разума, рождается у Герцена, во-первых, из его послышки о самоцельности, имманентной целесообразности жизни, а во-вторых, из его убежденности в связанности и переплетенности всех факторов индивидуального человеческого существования, отливающихся в неповторимую “натуру”, характер и личность. “Гордиться должны мы тем, что мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории... Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется, но это — не цель наша, не назначение, не заданный урок, а последствие той сложной круговой поруки, которая связывает все сущее концами и началами, причинами и действиями” (6,247). “Этический персонализм” Герцена (определение дано В. Страдой<sup>27</sup>), безграничность нравственной и исторической свободы, открываемая ему метафизическим одиночеством человека: (“Хозяина нет, рисунка нет, одна основа, да мы одни-одинехоньки” — (6,247), сдерживается сугубо нравственным же сознанием личности. “Свободный человек”, по Герцену, — это не человек “естественный”: «Думали ли вы когда-нибудь, что значит слова “человек рождается свободным”? Я вам, их переведу, это значит: человек рождается зверем — не больше» (3,327). И природа, и история одинаково слепы и безумны, а потому: “Я не советую браниться с миром, а начать независимую, самобытную жизнь, которая могла бы найти в себе самой спасение, даже тогда, когда весь мир, нас окружающий, погиб бы” (3,361)<sup>28</sup>. Как отмечал Зеньковский, Герцен “хотел объяснить человека из природы, а не природу из человека”<sup>29</sup>. Но на то он и антропологизм, скажем мы.

<sup>27</sup> См.: Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революционном движении // Вопросы философии. 1996. № 9. С. 108.

<sup>28</sup> Потрясающей параллелью этому высказыванию Герцена служит одно из самых знаменитых в последующей русской мысли “выступление” “подпольного человека” — героя повести Ф. М. Достоевского “Записки из подполья”: “Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить” (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 173). Разумеется, позиция “подпольного” прямо противоположна герценовской: он именно “бранится” с миром. Однако утверждение человеческого “своеволия”, не только этический, но и исторический персонализм, отстаивание свободы личности в ситуации любого вторжения со стороны в ее сознание и волю — эти и многие другие моменты являются, несомненно, общими для философских позиций Герцена и Достоевского. Не случайно современный итальянский ученый вновь ставит проблему “Герцен и Достоевский”, — при учете того, что двигались они “в разных направлениях” (см.: Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революционном движении. С. 108).

<sup>29</sup> Зеньковский В. В. Указ соч. С. 96.

Представляется знаменательной сама последовательность Герцена в его поиске смысла и спасения человека как исходящих лишь из него самого. “Народы, массы — это стихии, океаниды; их путь — путь природы. они ее ближайшие преемники, влекутся темным инстинктом, безотчетными страстями...” (3,308). Однако поэтому “народы обвинять нелепо, они правы, потому что всегда сообразны обстоятельствам своей былой жизни; на них нет ответственности ни за добро, ни за зло, они факты...” (3,308). Этот природно-исторический натурализм Герцена, в котором обычно видят один из источников теории “критически мыслящей личности” народников 1870-х гг. тем не менее доводит его “антропологический принцип” до абсолютной завершенности. Человек находится в центре природно-исторической системы, все факторы ее взаимообусловлены и благодаря своей замкнутости на человеке образуют единую целостность; уровень теории смыкается, наконец, с “практикой”, но вместе с тем, поскольку сама система имеет неравновесный (непредсказуемый и открытый ) характер, — неиссякаемо творчество жизни и рожденного ею человека<sup>30</sup>.

Не менее классичен, чем роман “Кто виноват?” Герцена, другой роман натуральной школы — “Обыкновенная история” И. А. Гончарова (того же 1846 г.). И здесь мы замечаем следование антропологическому принципу, складывавшемуся в ту пору в русской литературе в качестве важнейшей составляющей художественной концепции произведения и опорного пункта авторской позиции. Но антропологизм Гончарова имеет совершенно иной характер, нежели у Герцена. В романе Герцена, как было показано выше, люди представлены различными от природы, ибо различны их наследственность (совокупность природных свойств и задатков), ситуации рождения, образ воспитания, окружающая среда... У Гончарова люди в принципе схожи по своей родовой, естественно-биологической “конструкции”. Главное различие происходит не собственно от природы, но определяется социальными, экономическими, историческими, бытовыми, национальными факторами — короче, бытием как некими масштабными “глыбами”, укладами жизни.

“Я... рою тяжелую борозду в жизни...” писал Гончаров И. С. Тургеневу, характеризуя свое художественное своеобразие в земледельческих, бытгийных категориях<sup>31</sup>. Патриархальный уклад провинции формирует романтический тип характера; буржуазно-прогрессивный образ жизни Петербурга складывает характер дельца и прагматика, причем на том же органическом, природном материале (и дядя когда-то, подобно племяннику, рвал желтые цветы у деревенского пруда и писал многоречивые любовные послания). Личность может выбирать, какой ей быть, но для собственного комфорта и благополучия ей приходится следовать даже не столько требованиям “среды”, сколько “века”<sup>32</sup>... Среда, по Гончарову, — это, скорее, конкретная социально-коммуникативная ситуация развития (микросреда):

<sup>30</sup> О принципиальном антидогматизме Герцена, наряду с “осознанным скептицизмом” как методологическим принципом его мышления, см.: *Володин А. И.* Об историософии Герцена [Роберт Оуэн] // Вопросы философии. 1996. № 9. С. 82—89.

<sup>31</sup> *Гончаров И. А.* Очерки. Статьи. Письма. Воспоминания современников. М., 1986. С. 374.

<sup>32</sup> См. об этом: *Манн Ю. В.* Философия и поэтика “натуральной школы”. С. 246—257; *Маркович В. М.* И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. С. 78—97.

“Ведь для исполнения долга, даже для уразумения важности и достоинства человеческого предназначения — нужно сообразное этому приготовление, воспитание, — среда, в которой, например, жили и воспитывались Вы”<sup>33</sup>, — пишет он С. А. Никитенко в 1860 г. Возможности и силы, заложенные в каждой человеческой натуре в количественно разных соотношениях, могут преодолеть дурное влияние среды, но сами-то они носят общечеловеческий, как было сказано, родовой характер и не имеют той генетически определяемой специфики, что особенности “натуры” по Герцену. “Природа дала ему, — говорит Гончаров о Райском из “Обрыва”, — талант быть человеком — и ему оставалось не портить этого, оставаться на своем месте”<sup>34</sup>. А этот талант в принципе дан всем: недо-человеков и природных “волков” мы у Гончарова не встретим, включая и Марка Волохова, который был назначен писателем в критической статье «представителем этой “новой лжи”, появляющейся в жизни»<sup>35</sup>. Иное дело — “век”. Противостоять его железному влиянию бывают не способны не только мягкотелые Александры Адуевы, но и Вера — загадочная русская девушка с недюжинной силой ума и характера.

На общем родовом фундаменте у Гончарова складываются как бы две авторские модели человеческой натуры: в них отливается длительное влияние перечисленных выше факторов (включая и закрепленную веками среду) на природу — и, соответственно, две концепции человеческой личности, а точнее, пользуясь слогом самого Гончарова, человеческого характера. Первая может быть условно названа естественно-органической, вторая — прогрессивно-механической.

В “Обыкновенной истории” Александр Адуев проходит ряд последовательных этапов взросления и роста, свойственных любому человеческому организму: “золотое” детство, оберегаемое матерью; юношеская мечтательность, первая любовь и измена “ее” — единственной и неповторимой (история с Наденькой); вторая любовь и собственное разочарование в “объекте” (Юлии Тафаевой); период внутреннего одиночества и “переоценки ценностей”; пробуждение телесных инстинктов при знакомстве с девушкой Лизой на рыбалке. Сознание его не всегда успевает отразить органическое созревание, но ему этого и не надо. “...Любя, я уж анализировал любовь, как ученик анатомирует тело под руководством профессора и вместо красоты форм видит только мускулы, нервы...” (247)<sup>36</sup>, — упрекает потом он дядюшку за преждевременное воспитание в нем “ума”. Не случайно на вопрос Петра Ивановича о цели приезда в Петербург Александр отвечает: “Я приехал... *жить*”. <...> Пользоваться жизнью, хотел я сказать” (курсив мой. — Е. С.; 38). Дядюшка переводит это на свой язык: “...Приехал сюда делать карьеру и фортуны — так ли?” (39). Александр соглашается с сомнением.

Естественное течение жизни Александра по законам возрастной эволюции можно сравнить с жизнью любого живого существа. Но человек —

<sup>33</sup> Гончаров И. А. Указ соч, С. 384.

<sup>34</sup> Там же. С. 328.

<sup>35</sup> Там же. С. 320.

<sup>36</sup> Здесь и далее цит. по: Гончаров И. А. Обыкновенная история. Свердловск, 1982. В тексте в скобках указываются страницы.

не дерево и не животное: его отличает наличие ума и воли, короче, сознание. Поэтому в эпилоге чувствительный период в жизни Александра сменяется “сознающим”, а точнее, рассудочным, ибо его сердце, израсходовав пыл, отступает перед рассудком. В письме дяде из деревни Александр говорит: “Наконец, не есть ли это общий закон природы, что молодость должна быть тревожна, кипуча, иногда сумасбродна, глупа и что у всякого мечты со временем улягутся, как улеглись теперь у меня?” (280).

Именно к бережному расходованию жизненных, в том числе и сердечных сил призывает Александра Петр Иванович: “Сердце любит до тех пор, пока не истратит своих сил. Оно живет своею жизнью и так же, как и все в человеке, имеет свою молодость и старость” (128). Дядя — защитник *разумной* гармонии человеческого существа и существования. Человек для него — нечто вроде машины; рассудок — клапан, выпускающий наружу пару сколько нужно в данный момент, но регулирующий “выход” энергии по законам целесообразности целого. “По-вашему, и чувством надо управлять, как паром, — заметил Александр, — то выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть...” — Да, этот клапан недаром природа дала человеку — это рассудок, а ты вот не всегда им пользуешься — жаль! а малый порядочный!” (63). Однако совместить чувство и разум в жизни собственной жены Петру Ивановичу не удалось; возможно, потому, что женщина — существо а-техническое: законы ее природы иного рода, “сердце” всегда выше “ума” и рассудка. Так, рассказывая о Юлии Тафавой, автор распространяет пример ее негармонического воспитания и развития, преждевременно поощрившего сердечные тревоги и волнения, на многих женщин: “...Вот отчего стройный, мудро созданный и совершающийся по непреложным законам порядок людского существования кажется им тяжкой цепью...” (189). Иначе говоря, своей образующейся из “сдвигов” органики диспропорциональностью женщины нарушают “мудрый” порядок жизни — мудрый и со стороны природы, и со стороны людей, стремящихся понять, использовать и усовершенствовать природные законы.

Как и в романе Герцена, у Гончарова мужчина и женщина различны по своим “натурным”, антропологическим свойствам: стихийная сила природы имеет над женщиной большую власть, а оттого рациональному мужскому уму складывание женского характера видится сплошным неразумием или “тайной”. Почти параллелями являются рассказ Герцена о быстром взрослении Любоньки в доме Негрова и описание перемен, происходящих в Ольге Ильинской благодаря ее чувству к Обломову, у Гончарова: “Только женщины способны к такой быстроте расцветания сил, развития всех сторон души. Она как будто слушала курс жизни не по дням, а по часам” (177)<sup>37</sup>. Особенность женской натуры в ее несходстве с мужской мы находим практически во всех произведениях русской классики XIX в. — от “Евгения Онегина” Пушкина до рассказов и пьес Чехова. Но, пожалуй, подход Гончарова к женскому характеру и натуре наиболее рационалистичен: чего стоит его типология женских образов, данная на примере героинь Пушкина. “...Характер положительный — пушкинская *Ольга* — и идеальный —

<sup>37</sup> Здесь и далее цит. по: Гончаров И. А. Обломов. Л., 1987. (сер. Лит. памятники). В тексте в скобках указываются страницы.

его же *Татьяна* (курсив автора. — Е. С.). Один — безусловное пассивное выражение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую форму. Другой — с инстинктами самосознания, самобытности, самостоятельности. Оттого первый ясен, открыт, понятен сразу, — поясняет писатель. — <...> Другой, напротив, своеобразен, ищет сам своего выражения и формы, и оттого кажется капризным, таинственным, малоуловимым”<sup>38</sup>. Вот тебе и “тайна женской души”. По логике Гончарова, в художественном произведении она объяснима в конечном итоге авторским замыслом и отношением к своим героиням, а в жизни... в жизни различие этих натур зависит, видимо, от той же чисто количественной силы природы, которая разные “меры” энергии, силы и душевных способностей вкладывает и в мужчин. Остальное довершают “среда” и главным образом — воспитание, а уж потом — “эпоха”; последняя влияет в большей степени на “идеальный”, ищущий тип характера: для Агафьи Пшеницыной или Марфиньки из “Обрыва” зов “эпохи” — не помеха в следовании тропой природы и предков.

Аналогичная расстановке персонажей “Обыкновенной истории” дихотомия натур и личностей намечена в “Обломове”. Обломов живет органично, и его естественному развитию полностью соответствуют композиция и художественное время романа. Первая часть разворачивается весной: ровно 1-го мая Обломов лежит на своем знаменитом диване и принимает посетителей, которые в голос зовут его на гулянье в Екатерингоф. Характерно, что Илья Ильич всем одинаково говорит: “Не подходите, не подходите: вы с холода!” (Волкову; 17); “Не подходи, не подходи! Ты с холоду” (Судьбинскому; 20). Это не только показатель сибаритской изнеженности героя — Обломов просто еще не проснулся, роман с Ольгой впереди. Вторая часть изображает эпизодическое (в силу его финального неуспеха) “просыпание” Обломова, когда все перипетии его любви доходят, наконец, до жару пылкой страсти, и имеет временем действия лето. Герой живет на даче, а летняя, меняющая краски природа образует и фон, и заинтересованного свидетеля, и ритмическую “оркестровку” любовной лихорадки Обломова. В третьей части, в связи с начавшейся осенью, он переезжает с дачи на Выборгскую сторону: “И вся эта летняя, цветущая поэма любви как будто остановилась, пошла ленивее; как будто не хватило в ней содержания” (237). Затухание “антонова огня” любви Обломова завершается формальным разрывом с Ольгой — параллельно в природе устанавливается зима: «Снег валил хлопьями и густо устилал землю. “Снег, снег, снег! — твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. — Все засыпал!” — шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном» (291).

Белый саван снега и свинцовый сон Обломова предвещают скорый, в масштабах романа, финал его жизни. В четвертой части Обломов тихо и покойно живет под крылом Агафьи Матвеевны; как зимняя природа, так и он постепенно все более погружается в оцепенение, замирают живые силы, духовные отправления организма. На сцене не только появляется восточный халат Ильи Ильича (предвестником кругового движения сюжета он “выплыл” уже в конце третьей части), но и учащаются эпизоды дневной

<sup>38</sup> Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда // Гончаров И. А. Указ соч. С. 303.

дремоты героя. Стройный порядок годового, природного и патриархально-традиционного цикла вершит жизнь Обломова в доме Пшеницыной: “В марте напекли жаворонков, в апреле у него выставили рамы и объявили, что вскрылась Нева и наступила весна. <...> Потом стали сажать овощи в огороде; пришли разные праздники, Троица, семик, первое мая, все это ознаменовалось березками, венками; в роще пили чай. Сначала лета в доме стали поговаривать о двух больших предстоящих праздниках...” (293). В период любви к Ольге “антонов огонь” пылал в самом Обломове. С Пшеницыной у него все происходит иначе — ведь она воплощает “идеал того необозримого, как океан, и ненарушимого покоя жизни, картина которого неизгладимо легла на его душу в детстве, под отеческой кровлей” (299). Поэтому Обломов “сближается с Агафьей Матвеевной — как будто подвигался к огню, от которого становится все теплее и теплее, но которого любить нельзя” (299). Так люди зимой подвигаются и тянутся к огню, к теплу очага.

И если Обломов в четвертой части романа проживает один “сезон” жизни — так покойно-однообразно она катится у него, то Ольга и Штольц, словно наверстывая упущенное, стремглав бегут вперед: женятся, развивают друг друга, заводят детей и имение в Крыму<sup>39</sup>. Вся их жизнь умещается в несколько страниц неспешного обеда и послеобеденного сна Обломова. “Шли годы, а они не уставали жить. Настала и тишина, улеглись и порывы: кривизны жизни стали понятны, выносились терпеливо и бодро, а жизнь все не умолкала у них” (351). Характерно, что автор *описывает* жизнь Штольца и Ольги, используя прошедшее время глагола: герои словно отдалены во времени от событий, происходящих с Обломовым; и действительно отдалены: ибо их время носит иной, “сделанный” характер, а их наладившийся семейный уют имеет статус уже свершившегося, достигнутого и лишь волей автора пролонгированного счастья. Про Обломова говорится иначе: “Мир и тишина покоятся над Выборгской стороной... Все тихо и в доме Пшеницыной. Выйдешь на дворик и будешь охвачен идиллией...” (363). Автор-повествователь предлагает читателю полюбоваться *изображаемой* им и разворачивающейся на наших глазах, в “длящемся настоящем”, картиной жизни героя. Хотя затем, по мере приближения к фигуре самого Ильи Ильича, время и здесь становится прошедшем, но — неопределенно-прошедшим (совершенного вида глаголов, как при описании семьи Штольцев, гораздо меньше): так неопределенно бесформенны теперь тело Обломова, его внутренняя, почти замершая жизнь.

<sup>39</sup> Время Обломова определяется календарем и бытовой организацией хозяйства Пшеницыной; год, два или три протекает его жизнь на Выборгской стороне в четвертой части романа, установить трудно, ибо это не суть важно. Наиболее заметные события здесь — даже не афера “братца” по ограблению Обломова, раскрытая Штольцем, а удар, хвативший Илью Ильича, да наличие у него к последнему приезду Штольца “какого-то ребенка лет трех” (370). Как и в “Сне Обломова”, на Выборгской стороне господствует идиллический хронотоп, хотя и в меньшей степени (см. об этом: *Отрадин М. В.* “Сон Обломова” как художественное целое: (Некоторые предварительные замечания) // *Русская литература.* 1992. № 1. С. 3—17). В семье Штольца годы отмеряются четко. Об их количестве также не сообщается, но эта пара успевает прожить и пережить в чисто количественном отношении гораздо больше разнообразных происшествий, чем Обломов и Пшеницына. Их время носит иной, прогрессивно устремленный вперед темпоритм. Ср. наблюдения В. Набокова над разрывом времени у персонажей романа Л. Н. Толстого “Анна Каренина” (См.: *Набоков В.* Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 273—279).

Возврат к настоящему времени повествования происходит в заключительной сцене с участием Обломова, перед его последней встречей со Штольцем: “Он лениво, машинально, будто в забытй, глядит в лицо хозяйки, и из глубины его воспоминаний возникает знакомый, где-то виденный им образ. Он добирался, когда и где слышал он это...”

И видится ему большая, темная, освещенная салюной свечкой гостиная в родительском доме, сидящая за круглым столом покойная мать и ее гости: они шьют молча; отец ходит молча. (Еще живой Обломов сознанием своим — в царстве смерти. Комментарий же автора гласит: настоящее и прошлое слились и перемешались. — *Е. С.*) Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре... <...>

Кажется ему, то же облачко плывет в синем небе, как тогда, тот же ветерок дует в окно и играет его волосами; обломовский индейский петух ходит и горланит под окном.

Вон залаяла собака: должно быть, гость приехал. Уж не Андрей ли приехал с отцом из Верхлева? Это был праздник для него. В самом деле, должно быть он: шаги ближе, ближе, отворяется дверь...” (372).

И без Фрейда с Юнгом из комментария автора понятно, что Обломов обрел в Агафье Матвеевне и свою покойную мать, и запавшую в его “я-идеал” суженую слышанных в детстве волшебных сказок. Круг жизни Обломова замкнулся: мифическое и идиллическое<sup>40</sup>, определившее исток его дней, вошли в настоящее, и время Ильи Ильича словно пошло вспять. Закономерно следует смерть — возвращение к пра-родине, к до-рожденному состоянию. Но о смерти героя нам просто сообщают в начале следующей главы романа, ибо как можно изобразить или описать смерть такого природного, такого органически подверженного общей участи всего земного явления... Зимний “сон” Обломова переходит в небытие плавно и естественно, ибо сама граница между сном и смертью для растительной природы зыбка, неоформленна.

Штольц по ходу романа неоднократно вызывает ассоциации с машиной: в этом плане справедливы замечания П. Вайля и А. Гениса<sup>41</sup>. Он и живет по принципу экономии сил, предложенному в “Обыкновенной истории” Петром Ивановичем Адуевым. “Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа.<...> Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца. Кажется, и печальями, и радостями он управлял как движением рук, как шагами ног или как обращался с дурной и хорошей по-

<sup>40</sup> Об этих составляющих образа Обломова см., например: *Орнатская Т. И.* “Обломок” ли Илья Ильич Обломов?: (К истории интерпретации фамилии героя) // *Русская литература*. 1991. № 4. С. 229—230; *Отрадин М. В.* “Сон Обломова” как художественное целое: (Некоторые предварительные замечания) // *Русская литература*. 1992. № 1. С. 3—17; *Мельник В. И.* Философские мотивы в романе Гончарова “Обломов”: (К вопросу о соотношении “социального” и “нравственного” в романе) // *Русская литература*. 1982. № 3. С. 81—99.

<sup>41</sup> “Конфликт романа — это столкновение статуи с машиной. Первая — прекрасна, вторая — функциональна. Одна стоит, другая движется (под статуей имеется в виду Обломов, под машинами — Штольц и Ольга. — *Е. С.*)” — *Вайль П., Генис А.* Родная речь. М., 1995. С. 123. Этим же авторам принадлежит и замечание о календарном цикле времени Обломова (Там же. С. 120).



годой" (128). Однако "в пику" Обломову, исходя из своей авторской задачи. Гончаров дал нам процесс воспитания механического Штольца: вот-де как надо растить "нового" человека.

В нынешнее время Штольца любят, в Штольцы "глядят" (как в пушкинском веке "глядели в Наполеоны"). Быть может, одна из наиболее показательных черт истинного отношения автора к этому "идеальному" образу — глубокое различие в оценке фантазии в жизни человека между автором Гончаровым и героем Штольцем: "Больше всего он (Штолец. — Е. С.) боялся воображения, этого двуличного спутника, с дружеским на одной и вражеским на другой стороне лица, друга — чем меньше веришь ему, и врага — когда уснешь доверчиво под его сладкий шепот. Он боялся всякой мечты <...> Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе" (128). Для Гончарова же "стремление к идеалам, фантазия — это тоже органические свойства человеческой природы"<sup>42</sup>. Самая природа "позволяет приблизиться к ней только путем творческой фантазии"<sup>43</sup>. Поэтому природный Обломов — поэт в душе (как определил его Штолец); Штольцу же, имеющему с природой сугубо технические, потребительские отношения (а точнее, не имеющему никаких), фантазия не нужна. Заметив после долгого отсутствия перемены в Ольге, вызванные романом с Обломовым, Штолец не фантазирует, как сделал бы любой простой влюбленный. Он "осторожно, с боязнью читал ее лицо, затрудняясь часто и побеждая только с помощью всего своего ума и знания жизни вопросы, сомнения, требования — все, что всплывало в чертах Ольги" (313). Всем сбереженным ранее "топливом" сердца он устремляется теперь к избранной мишени: "Он пошел прямо к цели, то есть к Ольге" (317). Не случайно Обломовым то существование, которое ведет Штолец и к которому он как любящий друг пытался привлечь и его, воспринимается в машинных "категориях": "Это какая-то кузница, не жизнь; тут вечно пламя, трескотня, жар, шум... когда же пожить?" (147). В противоположность райской Обломовке это одновременно и ад.

Штолец занял рядом с Ольгой Ильинской место "другого" (игра со значением слова "другой" постоянна в романе) — и для него это отнюдь не составляет такого пункта страданий и мучений, как для Ильи Ильича, поистине одного и единственного. Ведь, по мысли автора, "сколько Штольцев (обратим внимание на множественное число. — Е. С.) должно появиться под русскими именами!" (130). Штолец — действительно "другой", чем Обломов: он "другой" в значении "никакой", если воспользоваться скрытой логикой Обломова из их известного спора с Захаром о "других", которые и с квартиры на квартиру переезжают, и чулки на себя сами натягивают.

Таким образом, и в первом и во втором романе Гончарова сталкиваются друг с другом две модели человека: человек — естественно живущее существо, подобно цветку, растению, и человек — механизм, которым можно управлять, познав его законы. Календарный план жизни Обломова в особенности позволяет сравнить его с растением. Да и время их с Ольгой любви обрамлено цветовым узором. В одно из свиданий Илья Ильич рвет для Ольги ландыши, ибо они "лучше пахнут: полями, рощей; природы больше. А сирень все около домов растет, ветки так и лезут в окна, запах

<sup>42</sup> Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда. С. 334.

<sup>43</sup> Там же. С. 335.

приторный” (163). Ветку сирени перед этим моментом нюхала Ольга; через некоторое время она отбрасывает ее — и завядшее соцветье подбирает Обломов. Ольга же на вопрос о цветах отвечает: “...ни резеды, ни роз не люблю. Да я вообще не люблю цветов; в поле еще так, а в комнате — сколько возни с ними... сор...” (163) Ветка сирени возникает второй раз при новом свидании влюбленных — и опять Ольга, игнорируя несимпатичность комнатной сирени для Обломова, подает ему сиреневую ветку, демонстрируя тем возвращение “цвета жизни” и своей “досады”. Она растит любовь между собой и Ильей Ильичом, как растят декоративные цветы. Даже ее отношение к мечтательным грезам — неминуемому спутнику первой любви — напоминает отношение к фантазии Штольца: “Она не вдалась в мечтательность, не покорилась внезапному трепету листьев, ночным видениям, таинственному шепоту, когда как будто кто-то наклонится над ее ухом и скажет что-то неясное и непонятное. <...> Она встанет с постели, выпьет стакан воды, откроет окно, помашет себе в лицо платком и отрезвится от грезы наяву и во сне” (186—187). Обломов же “засыпал... с мыслью о ней, шел гулять, читал — она тут” (187). Причем это противопоставление разных любовей героев подчеркивается в повествовании: “А Обломов (описание идет следом за абзацем, раскрывающим поведение в любви Ольги. — Е. С.) лишь проснется утром, первый образ в воображении (курсив мой. — Е. С.) — образ Ольги с веткой сирени в руках” (187).

Затем, когда Обломов пишет письмо о преждевременности любви к нему Ольги, о том, что он, возможно, занимает место “другого” (выдавая тем свой тайный страх — стать “другим”), сирени уже “отошли, поблекли” (204). Им обоим кажется, что они “пропали” по аналогии с исчезновением неприятного впечатления от незадачливого письма Обломова, однако в контексте целого — это предвестие увядания любви.

Наконец, изображение любви героев через цветочные знаки идет от самого автора-повествователя: “Момент символических намеков, знаменательных улыбок, сиреневых веток прошел невозвратно” (188—189). Быть может, потому и кончилась ничем их любовь, что Ольга настойчиво предлагала Обломову в качестве ведущего символа их чувства сиреневую ветку; всякий, верно, помнит, как выглядит сирень после периода цветения: она не дает плодов, мало того — буйно цветшая ветвь засыхает и отмирает<sup>44</sup>.

Из проведенного анализа романа напрашивается ряд выводов. Во-первых, это вывод о “натурной” разности Обломова и Ольги, которая, в силу своего “идеального”, ищущего (по концепции Гончарова) характера хотя и предназначена была на роль “путеводной звезды” Обломова (она *Ильинская*), но не могла бы стать постоянной спутницей его жизни<sup>45</sup>. Ведь “звез-

<sup>44</sup> Нам представляется неважным общепринятый “язык” цветов, употребляемых героями романа, например, то, что ландыш означал скрытую любовь, а обыкновенная (не белая!) сирень выражала формулу “мое сердце принадлежит тебе”, ибо все цветы получают локальное символическое наполнение в конкретной истории любви Обломова и Ольги, где они “сцепляются” со стадиями ее развития, подъема или внешнего затухания. Иначе говоря, цветы важны как соответствующие знаки природного календаря чувства, в их естественном, прямом значении.

<sup>45</sup> В. Кантор ставит Ольгу в один ряд с “Пречистой девой”, духоводительницей мира, и называет ее “русской Беатриче”, от которой Обломов уходит к “русской Гретхен” — Агафье Матвеевне. См.: Кантор В. Долгий навыв к сну: Размышления о романе И. А. Гончарова “Обломов” // Вопросы литературы. 1989. № 1. С. 149—185.

да” всегда вдали и над нами... В этом плане ситуация с точностью “до наоборот” воспроизводит позицию героев Герцена: Бельтов и Круциферская по всем параметрам, и в первую очередь природным, подходили друг другу — да законы нравственного сознания субъекта развели их; причем Любви Александровне вовсе не нужно было выступать для Бельтова в качестве “путеводной звезды” и Корделии. История неудавшейся любви Обломова и Ольги Ильинской, кроме всего прочего, развивается по стандарту ситуации “русского человека на rendez-vous”, естественно модифицированной и “растянутой” автором почти на две части романа. Она и завершается классически для этой сюжетной модели: моральной и психологической дискредитацией мужчины. Счастливый финал любви со Штольцем, уготованный Гончаровым для “идеального” характера Ольги, выглядит своего рода утопией и в контексте русской литературы того периода, и ввиду авторской “идеи” произведения (по аналогии с удачным разрешением любовного треугольника Веры Павловны в романе Чернышевского). И здесь мы переходим ко второму пункту выводов.

Сама надобность и возможность “пробуждения” Обломова к новой жизни — вовлеченность его в прогресс и “кузницу” цивилизации — представляется весьма и весьма проблематичной, и не только потому, что новая жизнь, данная нам глазами Обломова, поневоле обесмысленна. Природу нельзя изменить; дикое растение поддается лишь прививке, да и то не всегда. Возможно, поэтому столь немотивированным казалось современникам Гончарова (и до сих пор подчас воспринимается так читателем) “катастрофическое” изменение Александра Адуева в эпилоге “Обыкновенной истории”: ведь до того он двигался по законам возрастной, природной эволюции. Для появления отечественных Штольцев, наряду с капиталистической хваткой обладающих духовным потенциалом, ценящих простоту и сердечность, должны пройти века цивилизации, меняющие природные и национальные черты человеческой природы. Поэтому глубоко симптоматично, что антропологизм Гончарова при изображении модели “нового экономического человека” Штольца оказался чрезвычайно близок антропологизму Чернышевского, для которого, повторяем, то добро, что полезно организму; естественно-биологические, душевные, интеллектуальные и прочие потребности — всего лишь отдельные свойства единого целого. “Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека <...> эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей природы, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой природы в нем нет”<sup>46</sup>. Штолец поистине не имеет “другой” природы — и в нем, и для него самого все в жизни ясно, все поддается проверке ума и опыта. Но, скажем еще раз, *другая* натура у Обломова, хотя и она лишена пресловутого “дуализма”: антропологический принцип целостности рассмотрения

<sup>46</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч. С. 185.

человека в единстве всех его физико-психологических и социальных функций соблюдается Гончаровым на сто процентов. Да самих “натур” оказывается тем не менее две: дуализм из сферы индивидуальной как бы переносится в сферу метаиндивидуальную.

Смыкание антропологизма “теории” Чернышевского и художественной практики Гончарова показательно, ибо если Герцен, по старинке объявляемый нами материалистом и революционером, остался на позиции убежденности в роковом давлении природы (совместно с историей) на человека, давлении, которое можно победить лишь нравственной волей разумного существа, прозревающего в безумии жизни свои смыслы, — то и Гончаров, и Чернышевский, исходя из посылки о естественной нейтральности и принципиальной одинаковости человеческой природной сущности у всех людей, каждый по-своему, стремились найти путь некоего приспособления человека к требованиям жизни, прогресса, социума, цивилизации. И у того и у другого писателя речь шла фактически о выращивании новой породы людей, натур будущего. Но случайно позднее, в период создания “Обрыва”, теории буржуазного прогрессизма соединились в сознании Гончарова с позитивизмом и вульгарным материализмом в философии и этике, что привело его к созданию, с одной стороны, образа Марка Волохова<sup>47</sup>, а с другой — Ивана Ивановича Тушина: нравственного и великодушного помещика, практика с любовью к книге, рачительного хозяина и экономического “прогрессиста” (в прямом, не сниженном значении слова). Но сам автор назвал Тушина лишь намеком “на настоящее новое поколение, на лучшее его большинство”<sup>48</sup>. В последующей русской литературе “нарек” не был доведен до отчетливости, на которую надеялся Гончаров.

О. В. Зырянов

## ЛИРИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА КАК ЖАНР РУССКОЙ “ПОЭЗИИ СЕРДЦА”

Русская интимная лирика, по удачному выражению Н. Г. Чернышевского — “поэзия сердца”, начиная с 1820-х гг. характеризуется существенной трансформацией всей традиционной системы лирических жанров. Данный процесс не следует понимать однозначно (что иногда встречается в исследованиях по теории лирики) как переход от господства жанровых канонов к внежанровым формам лирического мышления. Это не только “процесс скрещивания всех известных ранее традиционных жанров и их взаимной

<sup>47</sup> См. об этом: Мельник В. И. И. А. Гончаров в полемике с этикой позитивизма: (К постановке вопроса) // Русская литература. 1990. № 1. С. 34—45.

<sup>48</sup> См.: Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда. С. 320.